

Ис
КАЛЬ
ЩИК

Маргарита Хемлин

ИСКАЛЬЩИК

РОМАН



издательство АСТ

Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Х37

Художественное оформление и макет **АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО**

Хемлин, Маргарита.

Х37 Искальщик / **МАРГАРИТА ХЕМЛИН.** — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2017. — 288 с.

ISBN 978-5-17-101549-7

“Искальщик” — один из романов финалиста премий “Большая книга”, “Русский Букер” и “НОС” Маргариты Хемлин (1960–2015), не опубликованных при жизни автора. Время действия романа — с 1917 по 1924-й, пространство — украинская провинция, почти не отличимая от еврейских местечек. Эта канва расцвечена поразительными по достоверности приметам эпохи, виртуозными языковыми находками. Сюжет в первом приближении — авантюрный. Мальчики отправляются на поиски клада. Тут-то, как всегда у Маргариты Хемлин, повествование головоломным образом меняет течение — а с ним и судьбы людей, населяющих роман. По уверению Лазаря Гойхмана, главного героя, рассказывающего все — до самого стыдного и жуткого, “в каждой насущной минуте человека есть такое, что в дальнейшем может стать вопросом вплоть до непостижимой тайны”. Выслушайте Лазаря, он таки прав.

УДК 821.161.1-31
ББК84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-101549-7

- © М. Хемлин, наследники, 2017
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
- © ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®

В каждой насущной минуте человека есть такое, что в дальнейшем может стать вопросом вплоть до непостижимой тайны.

Скажу о себе.

Мой жизненный путь начинался в местечке Остёр, который живописно расположился между Киевом и Черниговом. Год рождения — 1908-й. Я рос в окружении еврейского населения в однодетной, но бедной семье.

Мой отец Исаак Гойхман имел занятие кузнеца и ходил по окрестным селам. Длительность его отсуствий достигала иногда двух-трех месяцев. Он был красивый человек среди всего населения Остра. Выделялся и ростом, и строением лица, и всем что угодно. В данном случае я руководствуюсь не своими личными впечатлениями, а твердым мнением острян, среди которых были не в большинстве и украинцы, и русские. Что свидетельствует о зачатках интернационализма, между прочим. Пускай и не слишком сознательного.

Он умер от чего-то, когда я имел года три от рождения. И его натуру я рисую не по собственной

памяти, а так, как запечатлели во мне образ отца дед и мать.

Моя мать Двойра происходила из хорошей семьи. Внешне красота в ней совсем не пробивалась. Но сердце она содержала в сплошной доброте и участии. Удачно готовила, особенно из ничего, что случилось в нашем доме часто.

Она была мать. Можно и даже надо сказать — с большой буквы.

С нами проживал ее отец, а мой дед — Хаим. Он практически руководил семьей и в то же время пользовался сильнейшим уважением при синагоге за свои знания и навыки в области религии по иудейской части.

Дед и мать зарабатывали на нашу общую жизнь следующим образом: мать шила нижнее белье, постельные принадлежности и прочую мелочь по требованию; дед фактически был у нее на подхвате — делал наметку, порол, гладил и заглаживал. Прямая специальность в молодости у него была сапожник. Но правая рука вследствие злоумышленного перелома срослась неправильно, и потому вот так вот.

Что касается моих бабки с стороны матери и дед с бабушкой с стороны отца — то про них мне ничего доподлинно неизвестно. Что станет ясно из дальнейшего рассказа. Если я его проведу, несмотря на ряд насущных обстоятельств.

Чтобы не забыть и, может, кому-то пригодится. К вопросу обстоятельств. Участковая докторша говорит,

что в мои годы надо нажимать на свежие фрукты и овощи, и даже не так на фрукты, как на овощи. По силе возможности я нажимаю, вследствие чего держится память и здоровье вообще.

Да.

Вернусь.

Надо отметить, еврейских погромов в Остре не случилось. Но упомяну большие смертельные исходы среди еврейского населения в период скоротечной смены власти на Украине с 17-го по самый 20-й год. А именно в нашей местности. Убивали не только по военному делу, но и, можно сказать, по разнообразному. Менялись банды, особенно батьки Струка; петлюровцы и все тому подобное. Но тут уже куда денешься. А в остальном — ничего.

На описываемый период еврейское население, несмотря ни на что, в Остре сохранялось и собиралось жить.

Причем сам я до определенного, более позднего времени, как ни удивительно будет узнать, насильственно убитых, то есть мертвых людей, не наблюдал. Дед и мама меня прятали в дни наивысшей опасности. А выпускали с погреба, когда уже все лишнее с улиц подметали и убирали.

Мама лично обходила Остёр и докладывала потом деду. Я сидел на верхней ступеньке лестницы погреба и слышал ее радостные доклады: можно выпускать, уже чисто.

В то время над многострадальной землей носился 19-й год, и надежда бедноты состояла в победе большевиков на всех фронтах.

Не исключались с подобных чувств и дети нашей местности. Мы тоже глубоко и душевно тянулись, конечно, к красным.

Старшая остёрская молодежь еврейской национальности горячо приняла революцию. Многие ринулись в Киев и Чернигов, чтобы оттуда твердой ногой шагать дальше вплоть до всего мира. Во-первых, свобода от ненужных религиозных дурманов, обычаев, а также, особенно, от предрассудков разнообразных мастей. Во-вторых, черта оседлости перестала душить горло и ум каждого. Что же касается равнодушных или тех, кто находился под гнетом затурканности, среди которых имелся и мой дед, а также мать, то им подобных тоже было много. Уставший возраст, страхи — что понятно. И, между прочим, бесконечная темнота.

Скажу откровенно — полной мерой понять их невозможно. И пусть земля или что там под ними будет для них пухом.

Ну, таким образом.

Сейчас у нас идет уже 1992 год. Прошло семьдесят три года с того весенне-летнего периода времени, когда Марик Шкловский сказал мне по особому секрету, что знает про клад под Волчьей горой, за Остром.

Помню хорошо, до полной видимости.

Марик Шкловский прибежал ко мне не просто как к другу, а еще и потому, что слышал от кого-то старшего по годам, якобы клады имеют соответствующее их тайному положению заклинание. Прежде всего — непонятное на слух и по смыслу своего содержания, но сильное в действии. Марик уже перебрал в своем уме несколько слов и выражений, которые, по его мысли, могли бы послужить ключом к кладу. Но в конце концов отmel их как все-таки понятные. Конечно, это были отвратительные ругательства. Что греха таить... К тому же репутация Марика состояла в том, что он может нагородить неизвестно что на пустом месте и отстаивать это место до последней капли терпения всех. А потом развернуться и пойти вроде ненормального. И вообще.

И вот Марик явился ко мне с своим неожиданным для меня предложением. Чтоб я ему наговорил какие-нибудь слова с книжки, которую мусолил мой дед. А именно — из Торы.

Марик являлся членом антирелигиозной семьи, то есть был полусиротой без матери. Причем на показ и демонстрацию.

Его отец Шкловский Перец появился в Остре из Киева. Поэтому как бывший на городской закваске Перец смотрел на окружающее с презрением и осуждением. На вопросы острян, почему ж он приперся в такое плохое место, отвечал туманно. Перец ругался вправо и влево именно на Бога и утверждал, что его ругня направлена не только на отдельно взятого еврейского Бога, а и совсем, на любого.

Но что касается насчет совсем и любого — так он еще посмотрит. А про еврейского — точно. Нема.

Перец работал в пуговичной артели, где в полную силу хозяйничал Борух Полиновский. Подобных артелей существовало аж две. Исходного материала в Десне и Острианке хватило бы и на три. Исходным материалом являлись ракушки, которые славились среди тех, кто понимал их настоящую ценность. Артель Полиновского — самая хорошая из двух. Товар отправляли в Киев. Чем и заведовал Перец.

Как раз из-за причастности к постоянным поездкам в большой город — и в какие бурные отрезки времени! — отец Марика усугубил сознание в сторону громкого отторжения Бога и порицания Торы. Рассказывали, что Тору несколько лет назад Перец выбросил в речку Десну с обрыва и еще при этом уговаривал заранее приглашенных свидетелей, чтоб разнесли увиденное.

Он, конечно, созвал на свидетельство далеко не евреев. Евреи б ему Тору выбрасывать не дали, хоть убили б, а не дали. Поэтому Шкловский пригласил своих дружков разнообразных национальностей. И, между прочим, там был поляк, это если считать кроме русского хлопца и украинского дядьки. Для полноты, чтоб в все стороны народов.

Я, конечно, войдя в сознательный, хоть и ранний возраст, поддерживал Шкловского, и Марик тоже поддерживал. Но другие — старшие евреи — нет.

Мой дед истолковал подобное поведение одним фактом, но четким и ясным. Перец вдовец, хочет

жениться, гуляет в Киеве с украинской женщиной по-тихому, а хочет по-громкому. И вот вам результат. Ее родственники против еврея, что тоже понятно. Без фактов. А раз Перец выбросил Тору, он будет являться уже не евреем. Совесть его уберегла выкрещиваться, а так — он считает — можно и даже получается красиво.

Дед жалел Переца. Хоть не обходился без постоянных намеков на его выкрутасы.

Вывод делается такой. Марик был лишен Торы и других еврейских сочинений определенного рода с младенческих лет молока матери. Дедов-бабок также рядом не оказалось. Так что на момент обращения ко мне в голове Марика все сходилось: читалась книжка Тора справа налево, не по-людски, как выражался Перец, и причем надо было водить пальцем по каждому слову, чтоб, не дай Бог, ни одного не пропустить и не перепутать. Лучшего для открытия клада не найдешь никогда.

Дед же учил меня чтению Торы с четырех лет, как честного продолжателя еврейского народа. Только время уже было не то. Другое. Огневое. И потому книжку справа-налево я забросил. Хоть с вызубренного помнил много.

Я, конечно, уточнил: или пойду с Мариком на Волчью гору, или он считает, что я как дурень скажу ему слова и останусь в стороне от клада. Марик сказал, что считает — останусь в стороне. А за каждое сло-

во он мне заплатит, когда клад откроется во всю широту и глубину. То есть наоборот.

Надо ли говорить, что я отказался...

Тут Марик привел мне соображение насчет того, что я понимаю слова. А надо, чтоб говорящий и никто с ним заодно — не понимал. Где надо, поймут и клад откроют. Я заверил товарища, что ни единого слова из Торы по смыслу не понимаю. И никогда не понимал. Заучивал на слух из-под палки. Вот теперь только-только вспоминаю под его давлением и согласен записать несколько русскими буквами. Но сомневаюсь, или можно русскими. Потому что если русскими, то получится уже вроде понятно. Так что лучше я перерисую из Торы любой кусочек — строчки на две. Лучше на три. И мы эти строчки не прочитаем, а чтоб никому не обидно, засунем в тишине и покое бумажку в землю в примерном месте. Дальше уже оно двинется куда надо, само по себе.

Марик согласился после сильно длительного раздумья.

Назавтра отправились. Под надвигавшийся вечер. Место выбирали долго. Марик заверил, что клад может передвигаться внутри земли и потому неважно, где произвести заклинание. Клад до заклинания дойдет сам, своими собственными ногами.

Закопали бумажку под кустом жасмина. Как раз был конец мая, цветочки пахли, даже притягивали подойти.

Да.

Потом, конечно, усталость взяла положенное. Мы заснули крепким юным сном.

Когда проснулись, на небе уже сияли некоторые звезды.

Обмацали траву кругом себя. Как настоящие искарльщики, на коленях пропóлзали под горой не меньше часа. Клад не пришел.

Решили по второму кругу явиться утром. Тем более с мешком или тому подобным. И при этом выказывали радость, что в настоящую минуту идем без поклажи — до дома версты четыре, в рубахах нести сокровища — можно ж и порвать. А с мешком будет хорошо. Мы его — на палку и вдвоем осилим. Удобно.

Дома меня ждал дед. Причем с сильно нехорошими намерениями. Я это заметил по его виду и выражению фигуры.

Вместо того чтоб переписывать строчки из книжки, я вырвал половину страницы. Дед это, что понятно, обнаружил. Угрозами и общим сиюминутным отношением он вынудил меня скрыться из родного дома.

Моя мать потакала деду, причем во всем. И никто за меня на тот момент не заступился.

Я убежал за дальние огороды.

Что греха таить, я всегда стремился к простору. Чтоб на все углы — одна свобода! Я еще в детском воз-

расте заметил, что на свободе голова хорошо пустеет, аж до звона. Голова прямо сама выкидывает, что раньше туда напхали. В чужую ж в голову лезут все, кому б и не надо.

Да.

И вот в мою голову явилось решение идти на Волчью гору самостоятельно и сторожить клад до утра. Чтоб впоследствии задобрить деда и мать золотом. Не говоря уже про искупление, славу и весь мыслимый почет.

Горы́ я в ту ночь не увидел. Последнее, что мне запомнилось из тогдашнего — треск доски под ногой на мосточке. По-видимому, от неожиданности и перепуга я выключил свое сознание и включил его только когда услышал над собой взрослый голос.

— Нэ рыпайся, дурэнь! Ногу до кисточки обдэрэш! И так тут у тэбэ крови повно. Усю ричку замутив. Зараз одрубая тоби аж поникуды, инакше нэ знаю, що й робыты...

Я поднял голову и закричал, то есть, как мог, выразил сильную просьбу, чтоб ногу мне не рубали, особенно по некуда.

Незнакомый дядька засмеялся и подтвердил, что отрубает именно по некуда, а по-другому он меня освободить не сможет. Ну не разбирать же мосток из-за дурня...

Как бы там ни было, я сообразил, что взрослый человек был сильно выпивши. Сивушный дух явил-

ся для меня чем-то вроде хлороформа. Считаю, что именно это и облегчило тогда мои тяжелые страдания. Я опять выключился.

Очнулся в хате. Позвал маму при помощи неясного мычания. В ту же секунду среди других чувств распозналась нестерпимая боль.

Оглянулся вокруг себя и понял, что нахожусь в чужом помещении. Лежу, накрытый рядом, на скрыне, подо мной — кожух мехом наружу. Вместо подушки — свернутые тряпки. Я их вытащил из-под головы и кинул на земляной пол. Между прочим, они присохли к волосам и плохо поддавались отделению от головы. В ясном свете утра на полотне во весь свой цвет алели пятна крови.

Я вспомнил ночную угрозу лишить меня ноги. Ощупал двумя руками, где надо. Две моих ноги оказались на прежнем месте. Только правая, как кукла-мотанка — вся сплошь перевязанная тряпками, — не отозвалась на прикосновение своим участием.

“А вдруг там уже и не нога, а деревянная палка?” — Страшная догадка сильно оглушила меня.

Я громко закричал. В произошедшем увиделась расплата за несправедное посягательство на клад.

В хату зашел мужик. В длинной полотняной рубаше, штанах, босой.

— Ну шо, жиденок, ногу ты соби зидрав аж до кистки. И кистку трохы захватыв. Якбы у тэбэ там мяско було, а у тэбе ж сама шкирка...

Я спросил сквозь слезы, куда он подевал мою ногу.

— Куды-куды... У печи спалыв!

Я, конечно, горько зарыдал.

Мужик стал надо мной в весь огромный рост. Протянул руку к моей голове.

Я отшатнулся и больно ударился об стенку. Аж крейда немножко потрескалась в том самом месте.

— Ты шо? Та навищо мэни твоя нога пархата! Отакэ! Я кров твою погану усю нич вгамовував. Уси ганчирки спортив. Дывысь! Й пид голову тоби ничего було сунути. Геть усэ у крови! Дак я запхав тоби пид голову, що вже наскризь промокло. Голови однаково, а ногу ж рятуваты трэба. Я рушником перетягнув. Зараз доктор прыидэ. Сусид мий до Остра поихав, дак я попросыв, щоб доктора прывиз. Звидты доктор. Еврэй, ага. Вин тоби як свому усэ зробить. Добрый ликар. Хоча й молодой. А що — як молодой, то й руки в нього не трусяться. Ага. Люди ж дарма не скажуть.

Я перестал плакать.

— Отак. Терпы, козак, отаманом будэш. Хочеш в отаманы? Хо-о-очеш! Сам звидкы?

Я ответил, что остёрский.

Мужик расстроился, что я ему раньше не сообщил. Он решил, что я из Козельца. Ночью в бреду я вроде такое сказал. Наверно, даже в беспамятстве старался запутать следы и отвести постороннего от клада. Через мосток можно было идти прямо к Волчьей горе, а можно — дальше, на Козелец.

— Ну, хай... Прыидэ доктор, забэрэ тэбэ до Остра. Вдома мамка твоя рэвэ, мабуць... Гевалт и такэ инше... Ваши мамкы люблять лэмэнтуваты. Ой, люблять! Больйону тоби зварыць! Курку зарубае и зварыць! Точно ж кажу! Нэ журысь! Як тэбэ зваты?

— Лазарь. Гойхман.

— Ага! Недарма ж у кныжци сказано: “Вставай, гад, Лазар, и ходы!” Ну, як ты Лазар, то й будэш шкандыбаты. Спы! Зараз щось исты зроблю. Мэнэ дядько Мусий зваты. Як тоби щось трэба, звы, як люды одын одного звуть, а нэ рэвы, як хто зна що...

Я успокоился и уснул, причем сквозь боль.

Через некоторое время на дворе слышались человеческий разговор, лошадиный шум и тому подобное. Я узнал голос остёрского доктора Рувима Либина.

Я сильно пришел в себя от этого факта, потому что Рувим приходил к деду и являлся не чужим в нашем доме. Либин славился тем, что закончил Киевский университет с большим блеском. Несмотря на жестокую процентную норму для евреев. Про большой блеск упоминали по Остру беспрестанно и причем еще что-то имели в виду. На тот момент мне было неизвестно, что именно имели.

Между прочим, возраст Рувима был двадцать шесть лет.

Хоть на дворе говорили негромко, я разобрал и осознал следующее.

Ночью на Остёр налетели струковцы. И теперь они в местечке подкрепляются и находятся на отдыхе.

Либин был к ним призван для осмотра раненых, причем один умер у него прямо на руках. Какой-то особо ценный раненый. Рувим испугался, что окажется лично виноватым и замордованным, как полагается, что понятно по тому периоду времени. Он побежал в лес, как раз по направлению к Волчьей горе, и там ему встретилась подвода с соседом дядьки Мусия. Доктор умолил его не ехать дальше, а вернуться куда угодно, только подальше от Остра. Сосед дядьки Мусия согласился, потому что отчасти за Рувимом и ехал.

И вот все так удачно получилось, и он уже тут.

Мусий обратился к Либину:

— Ну що... Подывись на малого. Зробы що трэба. И щоб я тэбэ не бачив. Тэбэ шукаты будуть. А мэни горэ.

Я закричал по-еврейски:

— Рувимчик! Я тут! Иди сюда! Скорей!

Дернулся всем телом от собственного крика. Боль пронзила меня всего с головы до, как я в самой глубине души надеялся, имеющих пока ног.

Поздним вечером при свете каганца я узнал неправимую правду о последних событиях в Остре.

В результате бандитского нашествия подверглись бесчеловечному нападению мой дед и моя мать.

Рувим в тот момент находился в нашем доме,

так как был вызван приводить к жизни деда и маму, которые почти сошли с ума от моего отсутствия в тревожные часы. Струковцы требовали, чтоб Рувим немедленно пошел с ними к раненым. Рувим уточнил, или не истекают раненые кровью, какие у них произошли повреждения. И сделал вывод, что сможет явиться хоть через полчаса, хоть через час, когда старик и женщина немного очнутся от успокоительного укола, который он произвел.

Один из тех, кто пришел за Рувимом, рубанул своей саблей по очереди деда и маму с утверждением, что нечего тут расслаживаться.

Рувима взяли и потащили.

Я это все послушал. И спросил только, на месте моя нога или уже нет. Рувим ответил утвердительно и поинтересовался, или я все понял из его достоверного рассказа.

Я сумел кивнуть и вслух подтвердить собственное понимание первыми попавшимися словами:

— А вдруг они очнулись?

Лицо Рувима стало белым.

Он положил мне свою ладонь на глаза и приказал:

— Спи! Шлафен!

На момент моего пробуждения в хате происходило совещание среди Мусия и Рувима.

Мусий считал, что нам надо топать до дому, а Рувим утверждал, что не надо.

Мусий ставил вопрос ребром — за какие булочки мы тут у него будем ошиваться?

Рувим пропускал вопрос мимо ушей и мусолил свое.

В конце концов в качестве отдачи за проживание Рувим предложил свой докторский саквояж из толстой свиной кожи с блестящими застежками и в придачу штаны, пиджак и ботинки.

Мусий выразил согласие на неделю. Рувим начал его стыдить — за такую плату можно было бы и две. Мусий подумал и согласился.

Рувим заметил, что я не сплю, и сказал:

— Рана твоя большая, но поверхностная. То есть больше гевалту, чем дела. Через неделю будешь прыгать на обе ноги. Скажи спасибо дядьке Мусию! Он нас берет к себе на постой, пока ты очухаешься.

Я возразил:

— Раз я буду скакать через неделю, так зачем же ты ему все с себя отдаешь, вроде за две? Одежду ни за что не отдавай! Ну хоть ботинки не отдавай! Где теперь ботинки возьмешь?

Рувим встал из-за стола и провозгласил:

— Скакать ты будешь через семь дней. А вторые семь дней я взял на всякий случай. Ну, если честно, так для себя — лично. Как для человека. Не как для врача. Надо, чтоб струковцы меня немножко потеряли.

Я разозлился:

— А вдруг дед с мамой меня уже ищут? Нет! Мне надо в Остёр! А ты оставайся! Оставайся! Жри тут

за свой свиначий чемодан! Жируй! Я деду расскажу! Он тебя больше на свой порог не пустит! Он твой чемодан, между прочим, чтоб ты знал, терпеть не может! Он на него плюет! И я плюну! Сто раз!

Я плюнул в сторону саквояжа раз. Подождал немножко. Плюнул еще. Будем откровенны, расстояние помешало мне попасть в намеченное. И я аж заплакал — от праведной обиды.

Ясно вспомнилось, как дед просил всякий раз, когда Рувим приходил в наш дом, оставлять саквояж на дворе. Если Рувиму нужны были инструменты, он выходил за ними или сразу перекладывал на чистый рушник, который выносила ему мама, потом долго кипятил. И обязательно говорил вроде не деду, а на воздух: “Это, чтоб вы ничего такого не подумали, Хаим Исидорович, не уступка вашим предрассудкам, а именно и только необходимая стерилизация. То есть абсолютная чистота. Наука — вы меня, конечно, извините на грубом слове”.

Мусий засмеялся.

— Всэ! Здоровый... Здоровый, гад! Учора вмырав, а сьогодни здоровый. Вставай, Лазар!

Я попытался скинуть ногу с сундука.

Рувим бросился ко мне, удержал всем своим телом.

Я махал руками, крутил шеей. Мусий добавился к Рувиму и вместе они меня утихомирили.

Мусий дал мне маленький глечик:

— Пый! Цэ вода.

Я сделал глоток, почувствовал — не вода, а самогонка. Причем, конечно, почувствовал запах еще до того, как глотнул, но каким-то чудом не закашлялся, а из принципа выцедил еще чуть-чуть.

Мусий допил оставшееся и радостно сказал:

— Оцэ так! З жидом побратався. З малым, а з жидом. Отак..

Самогон подействовал на меня в роли снотворного. За глазами, изнутри закрутилось, заметушилось, летали бабочки, гудели пчелы, но где-то далеко и глубоко — не в голове, а в самом сердце — зудела черная муха. И зудела она про Остёр. Про деда, маму... Они ж зарабатывали грóши на меня... А я тут лежу и никто не знает... Никто не знает... Никто не знает... А Рувим знает, но ему себя жальче, чем всех моих родичей, вместе взятых, по одному. Потому что он гад! И надо от него убежать. И бежать, бежать, бежать... Аж до Волчьей горы бежать... По мосточку, по мосточку, по мосто...

И тут я опять провалился в сон.

Надо отметить, что через Марика до меня доходили проверенные события революции. Мой друг увлеченно передавал рассказы своего отца про обстановку в Киеве. И Директория, и Самостийная-первая, и Самостийная-вторая. Мнение Марика было такое: всюду бурлит. И всем, без исключения из правил, настанет крышка, если пар не выпустить. А пар в такое время выпускается только с помощью револю-

ционных кишок. То есть выпустят кому надо кишки, и настанет хорошо, причем всем.

Я как-то поделился с дедом соображениями Марика, причем выдал их за свои.

Дед похвалил меня за ум и спросил:

— Ты видел, как от кишок пар идет? Лично видел?

— Видел. Свиныю закололи Власенки, так я видел. И воняло ж!.. Сильно воняло. Но то ж свинья..

— И человеческие кишки воняют. Ой как воняют!

— И кошерные? — Я честно поинтересовался, без задних мыслей.

Дед махнул рукой на мой живот и засмеялся. Долго смеялся, пока мама не дала ему воды, а меня не прогнала на двор.

Вслед мне дед прокричал:

— И начинят кишки твои горем твоим и смородом твоим, и будешь ты их тянуть за собой всю свою жизнь в себе, идиёт несчастный, голова твоя пустая свинячая!

И опять загоготал. На него иногда находило. Особенно когда слишком перемолится. Так мне мама честно объясняла.

К этим страшным словам, стоявшим в моей голове несколько месяцев каждую секунду, я и обратился, когда дело дошло до клада. Будучи уверенным, что придумать такое человек не способен, намеками приступил к деду, чтоб он мне их показал в Торе. Ну, и напомнил ему краткое содержание.

Дед удивился, что я запомнил трудное выраже-

ние, и заверил меня, что такого в Торе нет. Что это он сам. От себя. Из своих познаний жизни и из головы. И наказал мне забыть.

И так наказал, что я и вправду забыл тогда же. Как в провал вступил. И вырвал из книжки первые попавшиеся строчки.

И вот проснулся в Мусиевой хате с вопросом, который тут же закричал на воздух:

— Рувим! Рувим! У деда кишки воняли? Воняли? И у мамы воняли?

Рувим подскочил.

Положил руку мне на то место, где живот, и ответил:

— Воняли. Они мертвые, Лазарь. В Остёр мы уже не пойдем.

Своим детским непредвзятым умом я осознал положение. Клада мне не увидеть. Клад отрезан от меня навсегда. Тою саблякою, что выпустила кишки из моей семьи.

Не имея в виду никого удивлять скитаниями и лишениями, постоянной опасностью с всех заинтересованных сторон, не буду описывать, как мы с Рувимом под видом двух братьев — старшего и младшего — добрались до города Чернигова.

Рувим устроился в лазарет, я находился при нем, там же, на побегушках.

Жили в крохотной комнатке сразу за приемным покоем.

Я оказался нагруженным обязанностями поло-

мойки и санитаря по выносу мусора и других помоев. И так до полной победы революции. До установления советской власти на всей Украине.

Добровольческая армия ушла из Харькова, Петлюра сбежал за границу, товарищ Петровский стал во главе Советской Украинской Республики, столицей объявили Харьков.

Рувим провозгласил:

— Всё! Хоть какой, а конец!

Дальше такое.

Рувим для меня наметил школу. А для себя он наметил работу, работу и еще раз работу.

Рувим очень отдавал должное книгам. Читал и читал, читал и читал. И наизусть шпарил многое. Именно Рувим убедил меня, что лучшее лекарство от текущей жизни — чтение. Еще в скитаниях по боевым дорогам он ночами пересказывал мне истории и Греции, и Рима. После того как я пожаловался на непонятность, он перешел на окружающее — и от него я усвоил имена Гоголя, Некрасова, Надсона и ряда других.

И Рувим добился — конечно, с годами, — что единственная моя отрада нашлась-таки в книгах. Я не всегда смотрел на название — просто хватал и глотал заместо хлеба. Где обнаруживал — там и приседал за чтение. Конечно, Нат Пинкертон, Арсен Люпен, Робинзон Крузо, Жюль Верн тоже, “Остров сокровищ”, “Капитан Сорви-голова”, “Всадник без головы”.